



ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 821.161.1.09+929 Чехов

«ЧЕХОВИАНА» ЖУРНАЛА «ЗАВЕТЫ» (1912–1914)*

Н. В. Новикова

Саратовский государственный университет
E-mail: novikovanv@mail.ru

Журнал «Заветы» уделял первостепенное внимание русской классической литературе. В статье рассматривается несколько точек зрения на личность и творчество Чехова, предлагаемых неонародническим журналом своим читателям, выявляются их сходные и полемические аспекты, намечаются контуры программной позиции издания по отношению к писателю.

Ключевые слова: журнал «Заветы», А. Чехов, эпистолярное наследие, литературная критика, Н. Михайловский, Р. Иванов-Разумник, А. Дерман, А. Долинин, С. Золотарёв.

«Chekhov Review» of the Journal *Zavety* (Covenants) (1912–1914)

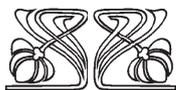
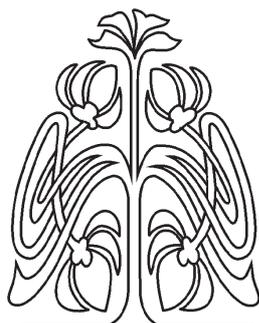
N. V. Novikova

Journal *Zavety* (Covenants) focused primarily on Russian classical literature. The article considers several points of view on the personality and legacy of Chekhov that the journal offered to its readers; similar and controversial aspects are distinguished; the outline of the edition programme attitude to the writer is traced.

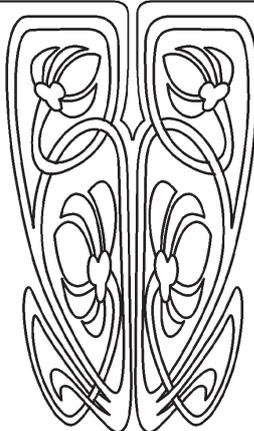
Key words: journal *Zavety* (Covenants), A. Chekhov, epistolary heritage, literary criticism, N. Mikhailovsky, R. Ivanov-Razumnik, A. Derman, A. Dolinin, S. Zolotaryov.

Ровно сто лет тому назад появился толстый журнал общественно-литературного характера с говорящим названием «Заветы» и портретами Герцена и Михайловского под обложкой¹. Название это позиционировало не только преемственность идей, завещанных столпами освободительного движения, но и внимание к тому, что завещано русской классической литературой. Весь её цвет XIX столетия щедро представлен на страницах неонароднического (эсеровского) ежемесячника. Щедринской можно назвать четвёртую книгу «Заветов» за 1914 г., выпущенную к 25-летию со дня смерти писателя²; в нескольких номерах помещены обширные статьи В. Евгеньева о Некрасове; о Пушкине, Тургеневе, Достоевском, Л. Толстом специальных работ в журнале нет (исключение – двухстраничная заметка Р. Иванова-Разумника «Памяти Л. Толстого»), но к духовно-нравственному авторитету и наследию этих художников апеллируют в своих программных выступлениях и В. Чернов – политический редактор «Заветов», и Р. Иванов-Разумник – литературный их редактор³.

Имя Чехова появляется в журнале тоже неоднократно: в постоянных рубриках констатирующего характера (таких, как «Перечень книг, присланных в редакцию», – здесь поочередно называются три тома чеховских писем, отрецензированных и изданных М. Чеховой), в «Книжных новостях» (к примеру, фиксируется выход 14-го тома Собрания сочинений А. Амфитеатрова, в мемуарах которого – «Славные мертвецы» – речь идёт и о Чехове). Обращается к личности и творчеству Чехова литературная критика «Заветов». Прежде всего отметим, что имя писателя упоминается в программном контексте одного из годовых обзоров Р. Иванова-Разумника. Настойчиво опровергая мнение об «оскудении» современной литературы, он ссылается на критическую ситуацию восьмидесятых годов – «дырявых» годов, которые «окрашивают собой эпоху, делают её периодом временного упадка», поскольку «ушёл в себя от литературы Л. Толстой, умер Достоевский, заканчивали



НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ





свою деятельность яркие таланты предыдущего поколения – Глеб Успенский, Салтыков»⁴. Соглашаясь с оппонентами («тут, действительно, было от чего в отчаяние прийти!»), он ещё более усугубляет впечатление, перечисляя тех, кем «была заполнена» литература восьмидесятых: «А вот не угодно ли: восходящей звездой считался Потапенко, восторженно хвалили многократных “Мимочек” г-жи Микулич-Веселитской, читали рассказы Мачтета, повести Салова <...> В поэзии царил Надсон <...> типичный поэт литературного упадка»⁵. К этим добавлены ещё несколько фигур (Вс. Соловьёв, «салонный Апухтин», Эртель, Атава, Станюкович, Альбов). «Только три имени разной величины и разного значения связаны с этим десятилетием: Чехов, Короленко, Гаршин»⁶, – утверждает Р. Иванов-Разумник. Экскурс понадобился ему для того, чтобы аргументировать уверенность в «неизжитых силах» современной литературы: над «серым, бедным, бледным», «на гребне литературной волны», сейчас, в начале 1910-х годов, как и тогда, есть «развивающиеся дарования»⁷. Как видим, Чехов, по Р. Иванову-Разумнику, «несколькими этажами»⁸ выше большинства своих литературных современников. Он для критика безусловно – в ряду классиков, чьё художественное наследие востребовано читателем, ищущим ответа на судьбоносные вопросы.

Развёрнутых разумниковских размышлений о Чехове «Заветы» не дают. Фигура умолчания может объясняться наличием законченного высказывания, до появления журнала трижды (с 1907 по 1911 г.) увидевшего свет в составе обширного труда Р. Иванова-Разумника «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века». Автор различает драматические перипетии чеховского выхода из тупика мещанства, идею спасения в так называемом прогрессе и – неполноту веры писателя в него, раздвоение, избавление от которого в том, что мыслитель называет «этическим индивидуализмом», то есть в признании человеческой личности первой и главной ценностью, в признании высшего личностного значения и достоинства, воплощающихся в тяготении к культуре, в обретении внутренней красоты и совести⁹. Таким образом, единичные «заветовские» отсылки Р. Иванова-Разумника к Чехову – сигналы о концептуальной неизменности его трактовки художественного мира писателя¹⁰.

В Отделе библиографии «Заветов» помещены рецензии А. Дермана на упомянутые выше эпистолярные тома Чехова; наконец, к десятилетию со дня смерти писателя здесь публикуются две специально посвящённые ему статьи¹¹ – дважды переизданная с тех пор работа А. Долинина «Путник – созерцатель»¹² и оставшиеся в том времени «Вопросы школы и культуры в творчестве А. П. Чехова» С. Золотарёва¹³. Волею судеб эта книга «Заветов» становится последней – с началом Первой мировой войны журнал закры-

вают. Таким образом, «заветовские» реплики в посмертном разговоре о Чехове оказываются едва ли не последними, что прибавляет им значимости. По точному наблюдению И. Сухих, «в августе четырнадцатого время Чехова кончилось, оборвался, как лопнувшая струна, затянувшийся, в сравнении с календарным, девятнадцатый век. В “Настоящем Двадцатом Веке” на какое-то время стало не до литературных споров и не до самой литературы»¹⁴.

Можно ли на основании названных материалов говорить о том, что в истории русской критики и журналистики осталось «заветовское» слово о Чехове? Каков он, «заветовский» Чехов? Есть ли скрепы, позволяющие ощутить некое единство позиций разных авторов, взявшихся за чеховскую тему в ежемесячнике внятной партийно-политической направленности? Или нет никаких внутренних переключек в прочтении Чехова Р. Ивановым-Разумником, А. Дерманом, А. Долининым, С. Золотарёвым и читатель сталкивается с полемической направленностью мнений? В чём проступает общее, журнально-программное и в чём – индивидуально авторское? Что представляют собой чеховские страницы в контексте «Заветов»? Поиск ответов на эти и аналогичные им вопросы в конечном счёте может способствовать как нюансировке чеховского портрета первого посмертного десятилетия, времени первых итогов и обобщений, так и реконструкции одного из звеньев творческой биографии критиков – будущих исследователей, а также уяснению редакционной политики собственно периодического издания.

Не претендуя на комплексное решение заявленной проблемы – «Чехов в журнале “Заветы”», – остановимся на некоторых показательных моментах, частично освещённых в специальной литературе, но взятых нами в преломлении к конкретному изданию и – к «крымскому» тексту.

Примечателен тот факт, что Абрам Борисович Дерман (1880–1952) в молодости, с начала 1900-х гг., прошёл школу В. Короленко, благодаря которому обрёл потребность, как он сам потом вспоминал, в «мироощущении социальной окрашенности»¹⁵. Закономерно, что, начав свой путь с беллетристики, в рассказах 1900-х гг. он – сторонник «моральной взыскательности к жизни, восходящей к этической проблематике Н. Михайловского». Неудивительно, что и как критик, заявивший о себе с начала 1910-х гг. в «Заветах» (а также в «Русской мысли» и в «Русском богатстве»), он «сознавал себя продолжателем традиций позитивистской критики (Н. Михайловского, прежде всего)» с её «прямым учительством», то есть выработкой у читателя «навыков сознательного отношения к искусству, предполагающему в том числе гражданскую оценку того или иного произведения»¹⁶.

Понятно, что «защитнику народнических преданий», критику с такими корнями предпре-



делено было стать в «Заветах» своим человеком. Это подтверждается не только качеством, но и количеством его появлений на страницах «Заветов»: в двадцати восьми книгах этого журнала в общей сложности столько же рецензий А. Дермана и три обширные статьи (в том числе «О центральной идее Л. Толстого» и о В. Короленко). Сравним: в «Русской мысли» за тот же период всего пять его рецензий, причём первая появляется на исходе 1913 г., когда участие в «Заветах» идёт на спад, а остальные – подряд в начале следующего¹⁷. Как видим, по этому «показателю» сотрудничества критика с журналами безусловное первенство за «Заветами». Нельзя не сказать ещё об одном принципиально важном моменте: шестой том «Русской мысли» за 1914 г. содержит резко критическую статью А. Дермана об И. Бунине – тот «антипатичен» критику «жёсткой трезвостью своего отношения к народу» и «являет собой, – с его точки зрения, – небывалый пример русского писателя, равнодушного к России»¹⁸. Попутно заметим, что и в «постзаветовское» время критик настроен «по-заветовски»: отповедь автору «Деревни» – в духе разумниковского отношения к нему и в русле идеологического самоопределения «Заветов», с чем то и дело расходится их реальная литературно-критическая и беллетристическая практика (достаточно назвать публикации расказа И. Бунина «Весёлый двор», крестьянской хроники Ив. Вольнова «Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злключениях»). Талантливые произведения вступали в противоречие с программной установкой неонароднического журнала на культивирование уважения к мужику и веру в его созидательные исторические силы.

Думается, определяющую роль в обоюдной заинтересованности создателей журнала и А. Дермана друг в друге сыграла приверженность критика к идеям социалистов-революционеров. После первой русской революции, живя в Полтаве, он «вступил в контакт с местными эсерами»¹⁹, за распространение брошюры об Учредительном собрании был отдан под особый надзор полиции, снятый только в 1914 г., и выслан из Полтавской губернии. С 1907 по 1914 г. А. Дерман живёт в Симферополе²⁰. Стало быть, деятельному участию его в «Заветах» расстояние не мешало, а крымский локус, надо думать, побуждал к тому, что станет для начинающего критика делом жизни²¹.

Помещённые в «Заветах» рецензии А. Дермана на томá чеховских писем позволяют предположить, что «жадный и любовный интерес» к ним и является истоком его чеховедческих штудий. Самое начало отзыва на первый том, содержащий письма 1876–1887 гг., звучит сейчас как мемуарное свидетельство, которое обретает особую цену век спустя: «Трудно указать писателя, эпистолярное наследие которого подверглось бы в короткое время столь энергичной разработке и приобрело бы такую широкую популярность, как наследие

А. П. Чехова. Никогда не печатавшиеся при жизни А<нтон> П<авловича> письма его за эти семь лет, протекшие со дня смерти художника, сделались нашим любимым чтением и дали важный материал для суждения о личности и творчестве их автора»²².

Не скрывая радости от столь пристального внимания к Чехову со стороны широкой читательской аудитории, разделяя её чистосердечный порыв, рецензент болезненно чутко реагирует на случаи «прямых злоупотреблений читательским вниманием». Публикация писем Чехова, поставленная «охочими предпринимателями» на коммерческие рельсы, тревожит А. Дерман, наносит «ущерб <...> одновременно и памяти А<нтон> П<авловича>, и читателю. Только небрежная и явно коммерческая торопливость г. П. Сергеенки в деле издания писем Л. Н. Толстого не позволяет нам сказать, что издательская неразборчивость в средствах достигла своего апогея в обращении с перепиской А. П. Чехова» (С. 192).

Для автора рецензии «несомненно», что «издание сестры покойного художника <...> положит конец всем этим злоупотреблениям», поскольку «это вполне идейное, прекрасное и любовно выполненное предприятие. Оно прекрасно по внешности, крайне дёшево, широко задумано». Чуть ниже: «Издание выполнено почти безупречно». При этом А. Дерман не задумывается в субъективности, он мотивирует своё впечатление существенными данными: «О широте его (издания. – Н. Н.) можно судить по тому, что в нём помещено около 200 писем, написанных от 1876 по 1887 год, между тем как в наиболее полном из других собраний, в сборнике г. Брандера, всего 168 писем от того же 1876 по год смерти А<нтон> П<авловича>, 1904» (С. 192) (курсив автора. – Н. Н.). Впечатляет критика и то, что «издание М. П. Чеховой вместе с тем является полной иконографией Антона Павловича. Здесь не только все фотографии А<нтон> П<авловича>, но и снимки с его родных, фотографии тех местностей, где Чехов подолгу жил. Наконец, каждый том будет снабжён биографическим очерком того периода жизни А<нтон> П<авловича>, к которому относятся помещённые в книге письма» (С. 192).

Разумеется, А. Дерман обращается к содержанию писем и главное достоинство их собрания «воедино» видит в том, что это «наносит удар по трафаретному представлению» об адресанте, «по ходячим и потому шаблонным и банальным суждениям», по «общим местам», когда «и спрос на чеховский биографический материал регулировался общим местом» (С. 193). «Говорить и писать о нём в каком-то умилительно-блаженном тоне сделалось модой <...> и начинало казаться, что, пожалуй, Чехов действительно есть то, что о нём говорят, и что новые документы призваны лишь подкрепить уже сложившееся мнение и, стало быть, сравнительно не так уж важны», – сетует автор рецензии. Общим местом, то бишь



«главным упреком современной Чехову критики» было «пресловутое равнодушие» писателя, «его крайняя беззаботность, поверхностный характер его творчества (в период молодости художника)» (С. 193). Письма Чехова, по мысли молодого критика, действительно «заставляют сильно задуматься: так ли уж целиком неправа была старая критика с Михайловским во главе? Да разве сам Чехов сразу отнёсся серьёзно к своему дарованию и понял, что оно обязывает?» (С. 194). Апеллируя к авторитету Н. Михайловского, А. Дерман в то же время дистанцируется от него, прокладывает, на самом деле, свой путь, уводящий от проторённого и исхоженного эпигонами знаменитого критика. Ему «любопытно проследить, как вначале шаловливое, лёгкое и, конечно, поверхностное творчество А<нтон>а П<авловича> мало-помалу превращалось в серьёзный и ответственный труд», как «Чехов перерождался», как им «начинали выясняться громадные обязанности, которые налагает талант, и которые он впоследствии понял, как редко кто» (С. 194).

В истории «перерождения» Чехова «крайне знаменательным» представляется А. Дерману «процесс исчезновения привычных тем у быстро крепнущего огромного художника»: заглядывая вперёд, рецензент отмечает, что со временем Чехова «покинуло изжитое настроение беззаботного и беспечного веселья, под конец жизни, вероятно, чуждое ему не меньше, чем его суровому критику Михайловскому» (С. 194). И всё-таки нельзя умолчать о том, что фактическое признание начинающим критиком одномерного и однозначного истолкования раннего Чехова при всём желании освободить писателя от такового свидетельствует о том, что он сам до конца не избавлен от власти первоначальных суждений своего кумира о литературном новичке. Но профессиональное чутьё побуждает А. Дермана, опираясь на источники, искать разгадки застарелой проблемы.

Чеховские письма, как выявляет автор отзыва, прежде всего вскрывают динамику художнического роста писателя, включая его прямую попытку «изложить воззрения на задачи и природу художественной литературы», и приоткрывают «художническую интуицию», в которой Чехов, по мнению А. Дермана, «неизмеримо сильнее» (С. 195). Он цитирует «самостоятельные и поражающие, прямо гениальные прозрения интуитивного типа», которые даже спустя четверть века «не только художниками не усвоены, но и многим критикам чужды», к примеру: «Снисходительно-презрительный тон по отношению к маленьким людям за то только, что они маленькие, не делает чести человеческому сердцу. В литературе маленькие чины так же необходимы, как и в армии, – так говорит голова, а сердце должно говорить ещё больше» (С. 195). Такие «догадки», почерпнутые А. Дерманом из чеховских писем, нагляднее всего опровергают пресловутый «трафарет». Служат этому и обнаруженные в письмах «зародыши

будущих произведений и мыслей» писателя, причём, считает рецензент, «иные фразы звучат как формулы если не мирозерцания, то мироощущения Чехова», допустим: «Не следует унижать людей – это главное. Лучше сказать человеку “мой ангел”, чем пустить ему “дурака”, хотя человек более похож на дурака, чем на ангела» (С. 196–197). Вместе с тем и письма Чехова к родным, «о домашних делах» воспринимаются А. Дерманом «важнейшей, в биографическом смысле, частью книги» (С. 196). И они, в свою очередь, разбивают стереотип в представлении о внутрисемейных отношениях, атмосфере в доме Чеховых.

Заканчивается рецензия приподнято, можно сказать, патетично: «С нетерпением ждём дальнейших томов этого прекрасного издания <...> Большое спасибо скажет русское общество издательнице за её образцовый и благоговейно выполненный труд» (С. 197).

После знакомства со вторым томом, состоящим из писем 1888–1889 гг., А. Дерман в первую очередь подчёркивает его «высокий психологический и критико-биографический интерес» и оценивает прочтённое в русле стержневого суждения о потенциальных возможностях эпистолярия для выявления «линии роста и самоопределения чеховской личности»²³. Перед критиком, настроенным таким образом, вырисовывается вполне понятная ситуация: как первый том был для него «едва ли не важнее всех будущих томов, ибо по нему можно было судить о начале роста чеховской личности, о его вступлении в жизнь», так и второй «хочется признать важнейшим, ибо в нём нашёл отражение один из интереснейших этапов жизненного пути Чехова» (С. 166). Рецензент справедливо полагает, что, «по-видимому, то же повторится и с дальнейшими томами: каждый будет казаться важнейшим», поскольку Чехов «всегда сильно и непрерывно рос, всегда находился в движении» (С. 166).

Вторая книга писем, по убеждению А. Дермана, «даёт много материала, характеризующего эволюцию Чехова», помогает воссоздать «картину духовного роста» писателя (С. 166). «Лирическая искренность», по его мнению, исходит от ставшего хорошо известным письма Чехова к А. Суворину («Напишите-ка рассказ о том...»). Суть такого «признания» для А. Дермана в том, что оно – «программа и канва чеховской жизни. Критикам и биографам Чехова предстоит раскрыть содержание этой поразительной схемы» (С. 167). Прочувствовав её, уже «не оставишь сомнения, что Чехов таким, каким его рисуют мемуаристы, явился в жизнь не сразу во весь рост, <...> но долго и напряжённо чеканил свой внутренний облик» (С. 167). Автор рецензии настойчиво, неустанно повторяет заветные мысли, стремясь показать читателю подлинное в Чехове, отвратить его от «нездорового и неглубокого институтского обожания», лишаящего писателя «громадной красоты», – она, на его



взгляд, сказала как раз в «постепенном росте от легкомысленного остролиста до могучего художника». Но приходится наблюдать обратное: «Вместо изумительной эволюции Чехова находят эволюцию критики: от “ничего не понимавшего Михайловского” к глубокой прозорливости “критиков задним числом”» (С. 167).

Критик останавливается на «примерах работы Чехова над собой, углубления его в жизнь, отличительных чертах чеховского метода познания» (С. 167). И, «не боясь проявить якобы неуважение к памяти Чехова», приводит строки, избличающие его «философию легкомыслия» и делает это «не только в интересах истины», но опять-таки для того, чтобы «видна была работа самоуглубления, совершённая» (С. 167) им, видны были «болезненные этапы при выработке мировоззрения» (С. 168). Критик ссылается на примеры «тяжёлых сомнений» Чехова «в самый расцвет его успехов», когда «мучило отсутствие уверенности в нужности его труда, в его серьёзности», и приводит большой фрагмент из последнего письма «разбираемой книги» – о «неудовлетворённости художника», которая «выступает» в нём «с особенной яркостью и поучительностью». В нём Чехов пишет «о массе “очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, о многом множестве ошибок и несообразностей, пудах испанской бумаги, академической премии, житие Потёмкина (прозвище, характеризующее быструю славу Чехова) – и при всём том (судит себя писатель. – Н. Н.) нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьёзное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьёзного труда ... Мне страшно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым серьёзным трудом. Мне надо учиться, учить всё с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда»» (С. 168).

Этот пронзительный по силе монолог писателя А. Дерман заключает созвучно пониманию его художнической природы и обусловленных ей настоятельных исследовательских задач: «Между этой своего рода “авторской исповедью” и беззаботными советами не придавать серьёзного значения ни своей литературной работе, ни ошибкам, ни имени – лежит пропасть, и её Чехов перешагнул, и то, как он её переходил, – является самым интересным вопросом для биографов Чехова» (С. 168) (курсив автора. – Н. Н.). В то же время рецензент обращает внимание на такую сторону «самостоятельности и независимости чеховских суждений», как «запаздывание познания» (С. 168). «Драгоценным свойством» «мудрости» Чехова он считает то, что она «не сразу пришла <...>, он её упорно добывал» (С. 169). Такое понимание чеховских исканий отнюдь не противоречит пафосу дермановского подхода к ним. Завершая отзыв, критик свидетельствует о «громадном интересе» к письмам, в которых Чехов делится своими литературными замыслами, анализирует

героев своих произведений, даёт сжатые и меткие характеристики писателей.

По впечатлению А. Дермана, в третьем томе писем Чехова – 1890–1891 гг. – «отразился особенно тревожный момент его жизни»²⁴. Причины «внутреннего беспокойства», которое проявлялось «в беспрестанных порывах куда-то ехать», критик по-прежнему склонен объяснять состоянием духа, «внутренней неудовлетворённостью» писателя литературной и общественной средой, «на самом деле чуждой, а то и враждебной ему» (С. 214). А. Дерман размышляет о том, почему Чехов именно «в путешествиях искал исхода из душевной вялости», с грустной иронией поминает «столь мало специфически “увеселительную” и жизнерадостную поездку на Сахалин» и приходит к заключению: «Материалы третьего тома писем, не давая на вопрос прямых ответов, всё-таки бросают на него некоторый свет» (С. 215). Вчитываясь в чеховские строки, он делает единственно верный вывод: «Сахалин, голод, Европа – это не случайности, а вехи глубокого духовного процесса. <...> Нам кажется, что этот ряд с несомненностью свидетельствует, что закончился период “беспечного”, назло всем жизнерадостного и весёлого Чехова, порой (часто) легкомысленного, весёлого “одиночки”, что в нём проснулось это характерно русское сознание ответственности одного за всех, толкающей на вмешательство в жизнь» (С. 215). Звучат, казалось бы, знакомые мотивы, хотя недавней определённости уже нет, понимание перипетий внутренней жизни Чехова уточняется и становится более тонким, приближающим к смыслу вершинных моментов чеховской биографии, особенно беспримерной поездки на «место невыносимых страданий». Попытка писателя объяснить этот шаг в письме к А. Суворину воспринимается А. Дерманом как «классическое исповедание идеи общей ответственности», равно как и «живейший интерес, проявленный Чеховым к голодной кампании», для критика – проявление «активного вмешательства Чехова в жизнь» (С. 216).

Реализованная художником готовность – лучшее доказательство правомерности дермановской идеи истолкования глубокой чеховской природы. Поэтому неслучайно завершается разговор обращённостью к «внутреннему росту личности – <...> по-прежнему главному и важнейшему в письмах Чехова» (С. 217). Сосредоточиваясь именно на этой стороне проблемы рецепции личностного мира писателя, критик наследует, преобразовывая и развивая, увиденное-таки и сердечно принятое в зрелом Чехове Михайловским. Напористое и убеждённое оспаривание стереотипного представления о Чехове, появление которого в своё время было спровоцировано радикальными оценками того же Михайловского, отходит на второй план. Всем своим строем рецензии А. Дермана дают понять, что у автора их превалирует желание показать общественную



складку писателя, а это полностью соответствует жизненной правде, критическому выбору рецензента и духу журнала.

Действительно, в письмах явственнее всего проступает наглядность чеховского самовыражения, эпистолярный источник как нельзя кстати освежает, обновляет, питает критическую мысль, подтверждает жизнеспособность методологических приоритетов А. Дермана. Однако думается, что разумниковская партитура осмысления Чехова сложнее и богаче, диалектичнее – может быть, потому, что материалом её служило художественное творчество, а не эпистолярное – прямое – высказывание. Но оба критика в постижении Чехова сторонятся «моды» на облегчённое отношение к нему, избегают умозрительности и догматического нажима, идут в одном направлении, вживаясь в последовательно разворачивающуюся эпистолярную и художническую данность, обнаруживая в ней глубинное движение чеховского духа, поиск идейно-нравственной мотивации личностного и творческого предназначения. Р. Иванов-Разумник, в отличие от Н. Михайловского и А. Дермана, специально высвечивает не только драматическую составляющую этого движения, но и его накапливающуюся к финалу просветлённо-созидательную гуманистическую наполненность.

В сравнении с осмыслением чеховского пути к «общей ответственности», прочувствованным и индивидуально-творчески выраженным Р. Ивановым-Разумником и А. Дерманом, слово А. Долинина об этом «пути» и самом «путнике» звучит диссонансом, хотя основывается преимущественно на изучении тех же писем, правда, в совокупности с воспоминаниями. Аркадий Семёнович Долинин (1880–1968), в то время недавний выпускник Петербургского университета, ученик С. Венгерова, – человек иной, нежели А. Дерман, школы, но, как это ни парадоксально на первый взгляд, именно в «Заветах» удачно заявивший о себе статьями об акмеизме и психологии творчества Ф. Сологуба²⁵. До этого в двух номерах «Русской мысли» мелькнули рецензии молодого филолога, в которых отчётливо проступало «резкое» неприятие социологических тенденций в критике и литературоведении, не имеющих ничего общего с его склонностью к «анализу художественных форм» и распознаванию «психологической доминанты творческой личности художника»²⁶.

Чехов у А. Долинина, как известно, – «пустынник-созерцатель», находящийся «всегда <...> на известном расстоянии от окружающих», «всю жизнь свою» скрывающийся «под непроницаемой бронёй»²⁷. Неуклонно, на протяжении всей статьи автор выстраивает мемуарные характеристики Чехова и его эпистолярные самохарактеристики в соответствии со своим образом чеховской «души», складывающимся под воздействием подлинных свидетельств, и ищет «правильный путь к изучению» этой многосложной «души» (С. 66), подсказанный всё теми же источниками. В этом

«изучении» отводится место «глубокому чувству личности, законченной индивидуальности» писателя, с молодых лет «свидетельствующим о коренной свободе его духа» (С. 67). Отсюда, по А. Долинину, чеховская «обособленность, точно раз навсегда взятая позиция не столько участника, сколько *созерцателя жизни*» (С. 68) (курсив автора. – Н. Н.).

В «контурах облика Чехова», воссоздаваемого исследователем, – его жизнь, которая «всё время шла врозь с жизнью общественной» (С. 69), «намеренно холодное искусственно незаинтересованное отношение» (С. 71) к окружающему. «Ещё раз повторяем, – пишет А. Долинин, – Чехов учил тому, что ему давалось легко, без труда, чему он постоянно следовал по природе своей, в силу изначального, лежавшего в основе его душевной организации, чувства личности, законченности и отсюда некоторой отодвинутости от реальности и человека» (С. 72)²⁸. Проявление этих личностных качеств, по мысли автора работы, не могло не наложить отпечатка на «мироощущение» Чехова-художника, сказавшее в собственно художнической сфере склонностью к «анализу по преимуществу» и «слабым ощущением связи между <...> предметом и явлением» (С. 74). Доминантой «изучения» чеховского мира души и мира творений писателя оказывается у критика-исследователя характерная антиномия: «Видел, слышал и чувствовал всё индивидуальное, единичное в окружающем внешнем мире, был в изображении этого индивидуального исключительным, единственным, которому не всегда легко найти равного, – вот каков был творческий удел Чехова; но ему не дано было знать и ощущать ту единую силу, которая движет всю жизнь вперёд, и в этом <...> заключалась его личная трагедия» (С. 80).

Дальнейший разворот мысли направлен на то, чтобы аналитически подтвердить эту «основную черту его характера, направляющий тон его мироощущения» (С. 81): «Цепь, разорванная на множество звеньев, мир, распавшийся на отдельные атомы, – вот какой воспринимает Чехов жизнь, окружающее» (С. 88). В этом «бесчисленном множестве отдельных осколков, ничем между собой не связанных» А. Долинин усматривает «корни огромного дарования» писателя, «исключительного по глубине и остроте знания души каждой индивидуальности, непременно индивидуальности, но здесь же и причины его личного несчастья, его роковой неудовлетворённости, его тоски по “общей идее”, по “норме или, – как иначе он ещё называет её, – по Боге живого человека”» (С. 81).

Подытоживая разговор о Чехове как «путнике-созерцателе», автор статьи вновь обращается к «причине его личной трагедии, его страха, непонимания жизни в её целом, его непоправимого одиночества»: «Чехову именно не доставало “чувства бесконечного”» (С. 102). Последний штрих, дорисовывающий «грустный, задумчивый облик Чехова», воспроизводит центральную идею исследова-



дования: «Он искал “общей идеи”, “Бога живого человека”»; он развенчивал все наши частные идеи, наши временные ценности. Причина всё та же: бегство от самого себя, неодолимое стремление выйти за пределы своей законченности, обрести настоящий всеобъемлющий синтез» (С. 102) (курсив автора. – Н. Н.)²⁹.

Нельзя не согласиться с И. Сухих, оценивающим концептуальный результат главенствующей мысли: «Это, в сущности, очередное перефразирование идеи Михайловского о тоске по общей идее как замене самой общей идеи»³⁰. И всё-таки уточним, что Чехов – «художник страха перед жизнью»³¹, каким он в конечном счёте и предстаёт на страницах долининской статьи, – возвращает к Михайловскому 1890 г., то есть выразитель новоявленной идеи поворачивает вспять. Не будучи сторонником народнических взглядов на литературу, выучеником Н. Михайловского, он походит на его запоздалого «попутчика». Через десять лет старейшему критику доведётся быть заинтересованным свидетелем и оценщиком того, как Чехов не «кончат», а «продолжает». «Конец г. Чехову ещё далеко не видно. – воодушевляется Н. Михайловский. – За рассказами “О любви”, “Крыжовник”, “Человек в футляре”, “Случай из практики” он дал широко задуманный и превосходно выполненный рассказ “В овраге”. И это новый шаг вперёд»³². Получается, что этот «новый шаг» остался вне поля зрения молодого критика-исследователя и тем самым переместил его с магистрали «изучения» чеховского феномена куда-то в сторону.

Замыкает ряд публикаций, посвящённых Чехову, статья Сергея Алексеевича Золотарёва (1872–?). Уже по незнанию потомками даты его смерти можно предположить, что он вряд ли посягал на роль властителя дум, но нельзя усомниться в том, что он был добропорядочным тружеником на ниве просвещения (в прямом и широком смысле этого слова). И. Масанов аттестует его кратко: «Педагог», – и приводит пять псевдонимов, под которыми тот печатался³³. В другом справочном издании сказано, что С. Золотарёв – писатель, преподаватель петербургских гимназий, выпускник Московского университета, работавший, по преимуществу, в педагогических журналах и газетах. Кроме того, незадолго до интересующего нас момента он отдельно издал «Очерки по истории педагогики» (1910), «Теорию словесности» (1911) и «Очерки по истории литературы» (1912)³⁴.

У писателя-педагога – свой запрос к классику, поэтому его статья стоит несколько особняком в «заветовской» «чеховиане». Автор её не озабочен «разгадыванием» Чехова, вынашиванием предложений по его «изучению» – принципиально значимыми для него являются чеховские образы учащихся и учащихся. И оказывается, что такой чеховой, узкий, на первый взгляд, подход к наследию писателя суживает только рамки разго-

вора о нём, а не границы представления. Прежде чем описать то, что означают «вопросы школы и культуры» по-чеховски, С. Золотарёв как благодарный читатель не скрывает чувства симпатии: «Чехова мы читаем по-прежнему, и каждое новое напоминание о нём, в виде, например, сборника его писем, нам приятно и дорого. Мы слушаем в его строках его голос, несомненно благожелательный, но немного загадочный...»³⁵. Правда, попытка очертить общие тенденции отношения к Чехову и обозначить вехи его творческого становления – не самая сильная сторона этой специфической работы. Вторичность и упрощающий картину схематизм здесь, пожалуй, неизбежны, но с выпрямлением, искажающим смысл чеховского образа в угоду насущной педагогической задаче, согласиться никак нельзя. «Только к концу своей деятельности, улавливая новые симптомы в общестественности, Чехов начинает мечтать и умирает с попыткой светлой мечты о новой жизни, которая подрубит созданную рабскими трудами красоту “вишнёвого сада”, и “будет вся Россия – наш сад”» (С. 104), – таков образчик суждений С. Золотарёва.

Как видим, автор заключительной работы о Чехове тоже идёт в фарватере Н. Михайловского, но в данном случае – идеологически утилитарно усваивая его требования к литератору как таковому и повременные претензии конкретно к герою своей собственной статьи. Стремление С. Золотарёва подтянуть репутацию любимого писателя к желаемой гражданской норме не столь безобидно. Нечто подобное, к прискорбию, тиражировалось десятилетиями в школьных учебниках литературы. Потребность отыскать в творчестве Чехова исторически важные подсказки сама по себе показательна и обусловлена общественно-педагогической складкой автора. Каким образом он взыскует чеховских ответов на острые вопросы времени, можно понять из финальной фразы, заимствованной у Чехова: «Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым – вот цель и смысл нашей жизни. Вперёд!» (С. 116).

Пафос деятельного, созидательного отношения к жизни в восприятии С. Золотарёва распространяется и на чеховское изображение знакомой ему среды. «Педагогическая система, которая задаётся антипедагогическими по существу стремлениями, русская школьная система последних десятилетий изображена Чеховым бесподобно» (С. 108), – со знанием дела отзывается писатель-педагог. Эту «бесподобность» он находит в увиденной Чеховым склонности учителей к «футлярности» и с болью и горечью делает великолепный обзор чеховских персонажей такого плана, вплоть до рудиментарных, из рассказов «Наивный леший», «Учитель словесности», «Папаша», «Размазня», «Моя жизнь»; подробно говорится о Николае Степановиче из «Скучной истории», разумеется, о Беликове из титульного «Человека в футляре», о Кулыгине из «Трёх сестёр», разговор касается даже унтера



Пришибеева (предпосылкой его охранительных замашек, «гражданской заботы об искоренении “своеволия и неповиновения”») автор статьи считает двухгодичную службу героя «“в швейцарах <...> в мужской классической прогимназии”», после которой можно было смело заявлять: «Все порядки знаю-с» (С. 108)).

В созданных Чеховым образах, удручающих добровольной внутренней «футлярностью», С. Золотарёву внятно ощущение её губительности. Она сказала и скажется на воспитании подрастающего поколения, поскольку «вне условий свободы не может быть творчества. <...> Педагог в футляре не свободен, следовательно, не может быть творцом, а педагогика без творчества – самое жалкое, противное и вредное дело в общественном и личном отношении» (С. 112). Отсюда, по логике писателя, опирающегося на чеховские картины, во избежание катастрофы, во имя установления раскрепощающей дух свободы следует «выходить из тесного круга обычной деятельности и действовать на массу» (С. 115). Осознавая ответственность учителя перед будущим, С. Золотарёв не мог не вдохновиться мыслью о том, что «человечество идёт вперёд» (С. 115), «под напором новой жизни» начинается прощание со «старым укладом» (С. 116). И надежду на обретение действительной свободы он извлёк из чеховского же последнего творения.

В тандеме с концепцией А. Долинина и с учётом предыдущих подходов к Чехову С. Золотарёва должен, видимо, играть буферную роль, способствовать достижению приемлемого баланса разных точек зрения, напоминать о «заветовских» идеалах. Итожитель «чеховского» сюжета «Заветов» поставлен в такую позицию, скорее всего, благодаря недвусмысленно заявленной причастности к тому императиву, который исповедовали и создатели ежемесячника. Идея служения высшим идейно-нравственным целям бытия, заданная обращением к столпам освободительной мысли в первом номере журнала, – общий знаменатель всех собранных здесь высказываний о Чехове. Другое дело, напрямую или от противного этим критерием пользовались все четверо авторов, ведь в пространстве критики у каждого из них были свой участок, свои пристрастия, свои задачи и приёмы в истолковании личности и художественного наследия классика. Активизация узловых моментов развивающегося отношения Н. Михайловского к Чехову, явленная в основных положениях статей Р. Иванова-Разумника, А. Дермана, А. Долинина и С. Золотарёва, при отсутствии корректировки их позиций со стороны редакции свидетельствует о её намерении воссоздать спектральное полотно, дать срез объективного положения вещей. Полемический ряд с его безнажимной педагогикой обнаруживает готовность «заветовцев» к диалогу с читателем и доверие к нему. В начале 1910-х гг. Чехов и чеховское идеально подходили для разговора о настоящем и будущем человеке.

* *Статья написана на основе доклада, сделанного на XXXII Международной научной конференции, посвящённой 90-летию со дня основания Дома-музея А. П. Чехова в Ялте (Крым, Ялта, 11–15 апреля 2011 года).*

Примечания

- ¹ Подробнее см.: Новикова Н. Журнал «Заветы» (1912–1914): к истории создания, становления, рецепции // *Изменяющаяся Россия – изменяющаяся литература: художественный опыт XX – начала XXI веков*. Саратов, 2008; *Она же*. Р. В. Иванов-Разумник – редактор и автор журнала «Заветы» (1912–1914) // *Литературно-критические выступления Р. В. Иванова-Разумника в журнале «Заветы»*. Саратов, 2007.
- ² См.: Новикова Н. М. Е. Салтыков-Щедрин в журнале «Заветы» (1912–1914) // ФЛПА ЛОГОУ: сб. научн. ст. в честь 70-летия профессора Валерия Владимировича Прозорова. Саратов, 2010.
- ³ См.: Новикова Н. Ф. Достоевский в нравственно-философском контексте литературной критики Р. В. Иванова-Разумника // *X Виноградовские чтения: Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты*. Т. 2. Фольклор и литература: восприятие, анализ и интерпретация художественного текста: материалы Междунар. научн. конф. М., 2007; *Она же*. «Великие искания» Л. Толстого в литературно-критической интерпретации Р. В. Иванова-Разумника // *Русское литературоведение на современном этапе: материалы VI Междунар. научн. конф.*: в 2 т. М., 2007. Т. 1.
- ⁴ Иванов-Разумник Р. *Русская литература в 1913 году* // *Литературно-критические выступления Р. В. Иванова-Разумника в журнале «Заветы»*. С. 66.
- ⁵ Там же.
- ⁶ Там же. Ср.: Н. Михайловский в 1890 г. называл Чехова «пока единственным действительно талантливым беллетристом из того литературного поколения, которое может сказать о себе, что для него “существует только действительность, в которой ему суждено жить” и что “идеалы отцов и дедов над ним бессильны”» (*Михайловский Н. Об отцах и детях и о г-не Чехове* // А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002. С. 84). В четвёртом номере «Русского богатства» за 1900 г. он же писал о Чехове как о «человеке высокодаровитом», у которого «нет сколько-нибудь ярких литературных ровесников: всё сколько-нибудь ценное в литературе или гораздо старше его, или развернулось значительно позже <...> Чехов начал свою литературную деятельность в необыкновенно трудное для начинающего писателя время. Разумею <...> ту надломленность недавних идеалов и верований, которая овладела обществом без замены их какими бы то ни было иными идеалами и верованиями, ту странную и страшную серость и плоскость, которая так или иначе должна была отразиться на литературе вообще, на начинающем писателе в особенности» (*Михайловский Н. Кое-что о г. Чехове* // Михайловский Н. *Литературная критика: Статьи о русской литературе XIX – начала XX века*. Л., 1989. С. 523).



- ⁷ Иванов-Разумник Р. Указ. соч. С. 67.
- ⁸ Там же. С. 66.
- ⁹ Новикова Н. А. Чехов и Л. Толстой : от Р. Иванова-Разумника к А. Скафтымову // Чеховские чтения в Ялте. Вып. 16. Чехов и Толстой : К 100-летию памяти Л. Н. Толстого. Симферополь, 2011.
- ¹⁰ Р. Иванову-Разумнику довелось обозревать чеховский путь в целом после ухода писателя. Ср. его понимание этапов внутреннего развития художника с оценками Чехова Н. Михайловским. Подходя к нему с мерилом общественной состоятельности, критик поначалу считает талант Чехова «даром пропадающим талантом» (*Михайловский Н.* Об отцах и детях и о г-не Чехове. С. 84. Далее – с указанием страниц в тексте. – *Н.Н.*), писателя – гуляющим «мимо жизни» (С. 85): он-де, в отличие от предшественников, которым не были чужды идейно-нравственные ценности, «с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает» (С. 86), а «мог бы и светить, и греть» (С. 84). Н. Михайловский выносит суровый приговор чеховской «безыдейности»: «При всей своей талантливости г-н Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в своём материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат» (С. 91). Наконец, только «Скучной истории» он не отказывает в «авторской боли» (С. 92) и, опасаясь нового «наплыва мутных волн действительности», предначертывает писателю такой «след в литературе»: «Если он решительно не может признать своими общие идеи отцов и дедов, – о чём, однако, следовало бы подумать, – и также не может выработать свою собственную общую идею, – над чем поработать всё-таки стоит, – то пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания её необходимости» (С. 92). Даже с такими допущениями «Михайловский видит в отсутствии общей идеи зло, которое писатель может попытаться преодолеть» (*Сухих И.* Сказавшие «Э!» Современники читают Чехова // А. П. Чехов : pro et contra. СПб., 2002. С. 31). Десятью годами позже Н. Михайловский уже отчётливо различает «момент развития г. Чехова», свои прежние мысли о нём находит у «праздноболтающих литературных гаменов» и признаёт, что писатель «уже давно совсем не тот», это «настоящий большой талант, и неудивительно поэтому, что он не остался при безразличном отношении к свету и мраку» (*Михайловский Н.* Кое-что о г. Чехове. С. 525–526. Далее – с указанием страниц в тексте). Критик по достоинству оценил то, что писатель, столь упрекаемый им в «поверхности» и равнодушии, «затосковал» и что «действительность, когда-то настраивавшая г. Чехова на благодушно-весёлый лад, а потом ставшая предметом безразличного воспроизведения <...>, вызывает в нём ныне несравненно более сложные и несравненно более определённые чувства» (С. 526). Н. Михайловский убеждённо заявляет: «Нет прежнего беззаботно-весёлого Чехова, но едва ли кто-нибудь пожалеет об этой перемене, потому что и как художник г. Чехов вырос почти до неузнаваемости. И перемена произошла, можно сказать, на наших глазах, в каких-нибудь несколько лет...» (С. 534). Более того, критик предвидит, что Чехов «далеко ещё не сказал сво-
- его окончательного слова, далеко не вполне выяснился ни в смысле силы таланта, всё ещё развёртывающегося, ни в смысле отношений к действительности» (С. 534). Наблюдая за динамикой этих суждений, нельзя не сказать, что Н. Михайловский, пользуясь его же словом, тоже «вырос» в своём понимании Чехова, перестав педалировать излюбленную идею и благодаря этому приблизившись к осознанию специфической «сложности» чеховской картины мира. Р. Иванов-Разумник, не снимая её драматизма, но и не предьявляя художнику убийственного идеологического счёта, идёт дальше Михайловского, стремится постичь многотрудную эволюцию чеховского мирозерцания и выявляет безусловные нравственные ценности, лежащие во главе угла чеховского мироздания, чеховской философии жизни.
- ¹¹ Для сравнения: «Русская мысль» откликнулась на скорбную дату лишь заметкой Н. Шаховской «О Чехове» (Русская мысль. 1914. № 7. С. 1–15 второй пагинации).
- ¹² *Долинин А.* Путник-созерцатель (Творчество А. П. Чехова) // Заветы. 1914. № 7. Отд. II. С. 64–102 ; *Он же.* О Чехове (Путник-созерцатель) // Долинин А. Достоевский и другие : Статьи и исследования о русской классической литературе. Л., 1989 ; *Он же.* О Чехове (Путник-созерцатель) // А. П. Чехов : pro et contra. СПб., 2002.
- ¹³ *Золотарёв С.* Вопросы школы и культуры в творчестве А. П. Чехова // Заветы. 1914. № 7. С. 103–116.
- ¹⁴ *Сухих И.* Сказавшие «Э!» ... С. 44.
- ¹⁵ *Поливанов К., Чанцев А.* Дерман Абрам Борисович // Русские писатели. 1800–1917 : в 5 т. М., 1992. Т. 2. С. 109.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ См.: *Гапоненков А., Клеймёнова С., Попкова Н.* Русская мысль : Ежемесячное литературно-политическое издание. Указатель содержания за 1907–1918 гг. / вступ. ст. А. А. Гапоненкова. М., 2003.
- ¹⁸ *Поливанов К., Чанцев А.* Указ. соч. С. 109.
- ¹⁹ Там же. С. 110.
- ²⁰ Незадолго до этого через Симферополь лежал путь и высланного туда Р. Иванова-Разумника. Свой труд по истории русской общественной мысли критик начал писать именно там.
- ²¹ Заметим, что в Крым А. Дерман вновь попадёт в годы Гражданской войны; в 1921–1922 гг. он возвратится в Полтаву для подготовки Собрания сочинений В. Короленко, а в 1923-м в Симферополе выйдет его книга «“Академический инцидент” : История ухода из Академии наук В. Г. Короленко и А. П. Чехова в связи с “разъяснением” М. Горького (По материалам архива В. Г. Короленко)», в 1929-м в Москве увидит свет его «Творческий портрет Чехова», где, между прочим, в главе «Критика Чехова» автор охарактеризует суждения Р. Иванова-Разумника об этом писателе как «диаметрально противоположные» своим. А. Дерман был составителем и редактором двухтомника «Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книппер-Чеховой» (М., 1934–1936). Затем будут «А. П. Чехов : Критико-биографический очерк» (М., 1939), «Москва в жизни



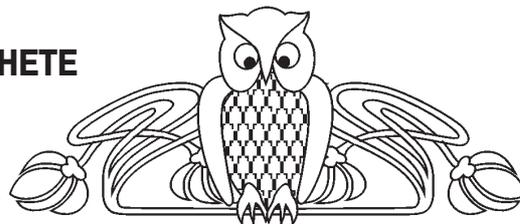
- и творчестве А. П. Чехова» (М., 1948), «О мастерстве Чехова» (М., 1959).
- ²² Дерман А. Письма А. П. Чехова. Т. I (1876–1887), с иллюстрациями. Изд. М. П. Чеховой. Москва, 1912. XXIV+374. Цена 1 р. 25 к. // Заветы. 1912. № 3. С. 192. Далее цитируется с указанием страниц в тексте.
- ²³ Дерман А. Письма А. П. Чехова. Т. II (1888–1889), с иллюстрациями. Изд. М. П. Чеховой. Москва. Ц. 1 р. 50 к. // Заветы. 1913. № 1. С. 166. Далее цитируется с указанием страниц в тексте.
- ²⁴ Дерман А. Письма А. П. Чехова. Т. III (1890–1891), с иллюстрациями. Изд. М. П. Чеховой. Москва, 1913. Ц. 1 р. 25 к. // Заветы. 1913. № 5. С. 214. Далее цитируется с указанием страниц в тексте. – Н. Н.
- ²⁵ Долинин А. С. Акмеизм // Заветы. 1913. № 5. Отд. II. (См. об этом: Новикова Н. Р. В. Иванов-Разумник – литературный редактор и критик журнала «Заветы» – о дебюте акмеистов // Вестн. МГОУ : Научный журнал. Сер. Русская филология. № 2. 2007 ; Он же. Отрешённый (К психологии творчества Фёдора Сологуба) // Заветы. 1913. № 7. Отд. II. Обе статьи были перепечатаны (См.: Долинин А. Достоевский и другие...).
- ²⁶ Долинин А. Долинин Аркадий Семёнович // Русские писатели. 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 153–154.
- ²⁷ Долинин А. Путник-созерцатель (Творчество А. П. Чехова). С. 66, 65. Далее цитируется с указанием страниц в тексте.
- ²⁸ Этот фрагмент отсутствует в переизданиях.
- ²⁹ В переизданиях курсив снят.
- ³⁰ Сухих И. Сказавшие «Э!»... С. 32.
- ³¹ Там же. С. 35.
- ³² Михайловский Н. Кое-что о г. Чехове. С. 540.
- ³³ См.: Масанов И. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей : в 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 198.
- ³⁴ См.: Золотарёв Сергей Алексеевич // Русский биографический словарь : в 20 т. М., 1999. Т. 7. С. 307.
- ³⁵ Золотарёв С. Вопросы школы и культуры в творчестве А. П. Чехова. С. 103. Далее цитируется с указанием страниц в тексте.

УДК 82'0:004.738.5

ПИСАТЕЛЬ – ЧИТАТЕЛЬ – КРИТИК В ИНТЕРНЕТЕ

А. А. Тишков

Саратовский государственный университет
E-mail: antontishkov@gmail.com



Цель статьи заключается в том, чтобы показать, как и за счёт чего Интернет повлиял на соотношение понятий «писатель», «читатель» и «критик» в современном литературном процессе.

Ключевые слова: Интернет, литература, читатель, литературная критика, литературный треугольник.

Writer – Reader – Critic on the Internet

A. A. Tishkov

The purpose of the article is to show how and by what means the Internet has influenced the correlation of the concepts 'author', 'reader', and 'critic' in the modern literary process.

Key words: Internet, literature, reader, literary criticism, literary triangle.

Изучение читателя в отечественном и мировом литературоведении всегда связано с изучением автора произведения и профессионального критика, так как невозможно рассматривать читателя в отрыве от текста и от того, как этот текст воспринимается людьми с разным уровнем готовности его восприятия.

Можно смело утверждать, что искусство развивается именно благодаря взаимодействию читателя, писателя и критика. Так, В. Я. Лакшин обращает внимание на то, что «искусство по природе своей предполагает <...> нечто вроде совместного творчества писателя и читателя.

Когда художники уверяют нас, что они творят для одних себя, – они или красиво лгут, или добросовестно заблуждаются»¹. Лакшин сильно опередил время, задав ещё в 1960-х гг. направление для изучения этого самого процесса «совместного творчества», который становится всё более и более актуальным и явным с развитием средств массовой информации и коммуникации, в особенности Интернета.

Более того, Лакшин определил неразрывную связь читателя, писателя и критика: «... писатель, читатель и критик составляют, таким образом, некий литературный треугольник, все стороны которого взаимосвязаны в литературном процессе»². Это важное определение неизбежно приводит к вопросу о соотношении «сторон» в литературном треугольнике. При этом возникает ещё один, не менее важный вопрос: литературный треугольник – это статичная геометрическая фигура или соотношение сторон в процессе взаимодействия со временем меняется?

Многие авторитетные исследователи отмечают, что в центре процесса «сотворчества» стоит именно читатель. Изучение читателя помогает ответить на один из самых главных, как считает В. В. Прозоров³, вопросов литературоведения, а именно «для чего и для кого» создаются произведения литературы, трудятся писатели и литературные критики.